

А. Немзер

Семидесятник

Лучшие годы Федора Абрамова — семидесятые. В 1968 была написана вторая часть будущей тетралогии о крестьянской семье Пряслиных — «Две зимы и три лета» (опубликованная десятью годами раньше первая часть — «Братья и сестры» — обрела признание при свете более ярких продолжений; случай в истории литературы редчайший). В 1969 и 1972 появились сюжетно связанные повести «Пелагея» и «Алька», в 1970 — «Деревянные кони», в 1973 — третий «пряслинский» роман «Пути-перепутья». В 1978 был опубликован последний, ставший завещанием писателя, «пряслинский» роман — «Дом».

В ту пору Абрамов был одним из немногих «бесспорных» писателей. Его любили почвенно ориентированная аудитория и соответствующая критика. Но и для оппозиционно настроенных столичных интеллигентов он был «своим». Совсем не случайно «традиционная деревенская» проза Абрамова послужила основой для ярких авангардных театральных постановок — за «Деревянными конями» Юрия Любимова последовали «Дом» и «Братья и сестры» Льва Додина. (Последний спектакль 5 марта 2000 года отметил свое пятнадцатилетие и по-прежнему пользуется успехом.) Абрамова называл в числе лучших русских писателей изгнанник Солженицын. И к нему вполне благожелательно относилась власть (в 1975 «Пряслины» удостоились Государственной премии СССР). В «Пути-перепутьях» с удивительной для того времени прямоотой говорилось о послевоенных репрессиях; в «Доме», кроме иного-прочего, сообщалось без всякого осуждения, что пинежские мужики охотно слушают «клевету» — закордонное радио. Были, конечно, о том же «Доме» отрицательные отзывы в печати (и, понятное дело, выражающие не личную точку зрения критика N, — не для того газету «Правда» ЦК КПСС издавал). Но звучали они — по советским меркам — почти деликатно. Несопоставимо с тем, что выпадало другому полутерпимому оппозиционеру, чье лучшее время тоже пришлось на семидесятые, — Юрию Трифонову. Трифонов и Абрамов вообще занимали в тогдашнем культурном раскладе сходное положение. Но сильные, влиятельные (и подчас совсем неглупые) враги Трифонова своей ненависти не таили — противники Абрамова принуждены были довольствоваться намеками. И получалось так вовсе не потому, что Абрамов писал исключительно о крестьянстве. Во-первых, ни в какие «посконно-домотканные» игры писатель никогда не играл, а, повествуя о сталинском (и последующем) уничтожении русской деревни, изобретением «врагов» не занимался и к «отдельным недостаткам» дело не сводил. Во-вторых, иным писателям из круга «Нашего современника» еще как доставалось за «не те» изображения коллективизации и ее последствий. Абрамову же удавалось говорить правду — и обходиться без зримых неприятностей.

Незримые, конечно, были. Как было и горькое прошлое. В 1963 году, после публикации повести «Вокруг да около», односельчане писателя, жители той самой деревни Веркола, что постоянно присутствует в абрамовской прозе, ответили ему в областной газете статьей с выразительным названием «К чему зовешь нас, земляк?» Земляк звал к самостоятельности, возрождению чувства хозяина, достойному существованию крестьянина на своей земле. Проинструментированные кем надо подписанты (трактористы, плотники, доярки) сочли это «глумлением над совестью, над чувствами советских людей». «Гнев народа» был в данном случае организован особенно подло. Абрамов, конечно, понимал, как такие письма делаются, но легче от того не становилось: лицемерили и клеветали самые близкие люди — его всегдашние герои. Было, надо думать, горше, чем в 1954 году — когда на первой оттепельной волне Абрамов напечатал

в «Новом мире» антилакировочную статью «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе» и тут же был зачислен в очернители, льющие воду на известную чью мельницу. (Статья эта послужила одной из причин первого изгнания Твардовского из «Нового мира»).

Психологические гипотезы — вещь шаткая. Но кажется, что после «отпора» земляков Абрамов должен был вспомнить не только «новомирский» сюжет, но и ленинградский филфак 1949 года. Тогда он — недавний фронтовик, аспирант кафедры советской литературы, партийный функционер факультетского масштаба — выступил одним из главных борцов с безродными космополитами. «Космополитами» были Марк Константинович Азадовский, Григорий Александрович Гуковский, Виктор Максимович Жирмунский, Борис Михайлович Эйхенбаум — цвет мировой литературоведческой мысли. Современники свидетельствуют: Абрамов не был антисемитом. Что руководило им тогда: партийная дисциплина? страх? презрение к старорежимным интеллигентным умникам, которые занимаются какой-то ерундой и получают профессорские оклады? Вероятно, и последнее тоже. Тогдашний студент, консультировавший Абрамова перед кандидатским экзаменом по творчеству Радищева, запомнил, как тот его одергивал: «Да ты мне лишнего не говори!» Студента звали Юрий Лотман (тоже, кстати, недавний фронтовик), и он — много лет спустя — признавался в письмах, что не может заставить себя читать «Федю Абрамова».

Известно, что сам писатель крепко помнил о своей вине. Но даже и не будь у нас мемуарных свидетельств, можно было бы догадаться, как мучила Абрамова эта страшная история. Поразительно, насколько минимализировано в абрамовской прозе автобиографическое начало. Фронтовик писал о «войне в тылу». Многолетний житель Ленинграда словно не замечал этого города. Среди абрамовских персонажей неприметны его сверстники. Любимый герой — Михаил Пряслин — на восемь лет моложе автора: подросток в первых — военных — романах тетралогии; юноша — в «Путях-перепутьях», где с жесткой тщательностью отображена работа сталинской карательной машины, что с равным успехом изничтожала великих ученых и рачительных, совестливых крестьян (в финале этого романа Мишка тщетно пытается собрать подписи под ходатайством за председателя колхоза, посаженного за то, что роздал зерно голодающим колхозникам). Разумеется, главным здесь было желание воздать должное младшим «братьям и сестрам», рассказать об их незамеченном подвиге и великом страдании. Но было и стремление обойти свою — совсем другую — судьбу, был скрытый счет к себе и своим сверстникам, что, по слову Бродского, «смело входили в чужие столицы, но возвращались со страхом в свою».

Он вынес многое. В том числе — мнимое благополучие. И мысль об этом самом мнимом благополучии — уже не личном, но общем — мучила прославленного писателя. Об этом — «Дом», время действия которого — 1972 год, когда в деревнях — спасибо нефтедолларам — наконец-то запахло относительным довольством (серванты, холодильники, мотоциклы и комплект «Роман-газеты»), работа — после исчезновения скреп страха и голода — стала для большинства дурацкой обузой, а семейные связи вдруг утратили свою крепость. 1972 год — год страшных пожаров, пусть бушевавших далеко от абрамовской Пинеги, но ставших знаком беды для всей России. Абрамов увидел этот знак. Уходят в небытие старики, спиваются бывшие фронтовики, гибнет Лизавета Пряслина — и ничего не может со всеобщим распадом, разрушением домов и Дома, поделать «брат-отец», хозяин и труженик Михаил Пряслин, на котором до сих пор держалась вся Россия. И никакими дежурными сюжетными ходами (управляющим назначили толкового, деловитого парня) беды не поправить. В конце семидесятых один из главных писателей этого периода понимал и практически вслух говорил: «текущая», не предполагающая изменений, как бы мирная жизнь — обречена. «Шла запоздалая осенняя гроза, и Михаил вдруг вспомнил отца, его последний наказ: “Сынок, ты понял меня? Понял?..” Тридцать лет назад сказал ему эти слова отец. Сказал в тот день, когда

уходил на войну, и тридцать лет он ломал голову над ними, а вот теперь он их, кажется, понял...» Через пять лет — в 1983, на самом исходе чреватого катастрофами «тихого» времени — Федор Абрамов умер.